

IV. История культуры

Криста Эберт

Семиотика на распутье. Достижения и границы дуалистической модели культуры Лотмана / Успенского*

Перед тем как представить мои размышления на вышеуказанную тему, я бы хотела упомянуть причину, заставившую меня обратиться к ней в связи с конференцией „Модели и константы культуры в русской истории и современности“.

В ответ на наш сборник „Понятия культуры в литературном мире России“, опубликованный в 1995-м году, вышла в свет обстоятельная рецензия, автор которой с удивлением замечает, что в этой работе семиотика культуры была оставлена без внимания, что, по его мнению, удивительно: „...так как в ряду авторов были ученые, которые ранее ставили эту тему во главу угла“.¹ Он размышляет о возможных причинах и задает вопрос: является ли отмеченное отдаление от семиотики культуры эхом неспособности описания современных изменений с помощью культурно-семиотических моделей?

Конференция предоставила мне возможность возвратиться к этому вопросу и тем самым ступить на зыбкую почву, так как, без сомнения, еще рано давать окончательную оценку развитию вышеназванной литературоведческой школы. Нельзя не согласиться с мнением Бориса Успенского, завершающего свою статью о возникновении и развитии семиотической школы следующими словами: „Заканчивая этот общий обзор деятельности тартуско-московской семиотической школы, я хотел бы подчеркнуть, что время для окончательного подведения итогов еще не наступило: мы движемся дальше, наши научные интересы динамически развиваются, точка еще не поставлена“.²

* Доклад в рамках конференции „Модели и константы культуры в русской истории и современности“ (Айхштетт, апрель 2002 г.).

¹ Рецензия Вальтера Кошмала к сборнику: Ebert, Christa (Hrsg.): *Kulturauffassungen in der Literarischen Welt Rußlands. Kontinuitäten und Wandlungen im 20. Jahrhundert*. Berlin: Berlin Verlag 1995. 260 S. В: *Zeitschrift für Slavische Philologie*. Т. LVI. 1997. С. 229.

² Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М. 1994. С. 277-278.

Однако апогей культурологического метода, нашедшего свое отражение в „Трудах по знаковым системам“ и в летних школах в Тарту в 60-х и 70-х годах, без сомнения, уже позади. Трагическим символом можно назвать то, что выход в свет юбилейного сборника, посвященного Юрию Михайловичу Лотману, можно приурочить не только к 70-летию автора и 20-летию тартуско-московской школы, но и к смерти ее вдохновителя. Количество трудов по изучению семиотической школы неизменно растет. Это связано не только с новой вехой, которую ознаменовала смерть Лотмана, но и, по точному замечанию С. Зенкина, с новой тенденцией в современной науке, нежеланием разрабатывать новые революционные концепции, как когда-то в период „Бури и натиска“ в 60-70-х годах, с переходом к проверке научной базы уже существующих проектов.³ Статья в журнале „Новое литературное обозрение“, открывшая серию публикаций на эту тему, называется характерно „Бой с тенью Лотмана“.

Хотя Н. Богомолов решительно отвергает легенду о конце русистики на территории балтийских государств, указывая на то, что „трудами ветеранов тартуской школы, многих из которых уже нет в живых, основанная школа продолжается трудами ее учеников“⁴, трудно отделаться от впечатления, что самая интересная и увлекательная культурологическая школа на географической и научно-политической периферии бывшей советской империи после короткого расцвета во время перестройки умерла вместе с ее вдохновителем.

Успехи тартуско-московской школы, без сомнения, в большой степени объясняются тем, что она сама являлась частью той семиосферы, которая хотя и не была официально избрана предметом ее исследований, но с которой она постоянно соотносилась – т.е. частью советской культуры. Несмотря на то, что школа считалась обособленной группой, не желавшей интегрироваться в советскую науку, что и подчеркивалось ее географически отдаленным от метрополий положением, ее участники отлично понимали, что в науке «взгляд извне» является иллюзией, и что требуемый ею метаязык не подвешен в воздухе, а зависит от места нахождения ученого. В „Тезисах к семиотическому исследованию культуры (в применении к славянским текстам)“, вышедших в 1973 г., были названы основные позиции группы: „Научное исследование не только инструмент изучения культуры, но и само входит в ее предмет. Научные тексты, являясь метатекстами культуры, одновременно могут рассматриваться и в качестве ее текстов“.⁵

Мои размышления концентрируются на двух вопросах:

1. На чем основывается успех советской семиотики культуры и почему уменьшилось ее значение после распада Советского Союза?

³ Зенкин, С.: Бой с тенью Лотмана. *Новое литературное обозрение*. № 53. 2002. С. 340.

⁴ Богомолов, Н.А.: Послание из Прибалтики. *Новое литературное обозрение*. № 52. 2002. С. 372.

⁵ Тезисы к семиотическому изучению культур. (В применении к славянским текстам). Лотман, Ю.М.: *Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки*. Санкт-Петербург. 2000. С. 525.

2. Как реагировала семиотика на фундаментальные социально-культурные изменения, произошедшие в конце 80-х годов (в последние годы жизни Лотмана)?

Попытка воспроизведения истории семиотики в СССР и ее главных тем выйдет за пределы тематики конференции и моего доклада, к тому же самое существенное на эту тему уже сказано,⁶ поэтому я сосредоточусь на основных предпосылках этой школы, на перенесении предмета семиотического исследования с вербального текста на текст культуры („культура как вторичная моделирующая знаковая система“ - из ранней терминологии группы), и, в особенности, на культурной модели Лотмана и Успенского в ее применении к России.

К первому вопросу

Значение семиотики культуры основывается прежде всего на ее субверсивности в рамках господствующей советской системы. С. Зенкин оценивает ее значение с другой точки зрения, говоря о том, что „драма московско-тартуской школы [...] заключалась в отсутствии 'законного' оппонента“, которого она могла бы критиковать на основе своих собственных правил.⁷ Мне кажется наоборот, что именно отсутствием нормального научного плюрализма объясняется революционный характер семиотики. Даже если она не полностью соответствует идеалу строгого научного метода (какая теория отвечает ему в совершенстве?) - создание собственной теории знаков к тому же и не являлось ее целью - семиотика культуры явилась важнейшей провокацией советского научного дискурса.

Когда в 50-е и 60-е годы в Москве лингвистическая и литературоведческая техника компьютерного перевода дала импульс для развития семиотики, занимающейся строением, структурой и механизмами функционирования текстов, это стало вызовом доминировавшей на протяжении тридцати лет, называющей себя марксистской, а в действительности ориентированной на «историю идей» науке, пришедшей на смену формалистскому подходу к исследованию литературы и искусства, в котором текст был приоритетным объектом изучения. Официально отвергаемый формализм начал, таким образом, возрождаться с помощью научной кибернетики, воспринимаемой особенно скептически с того момента, когда сфера ее применения расширилась от чистой лингвистики к идеологиче-

⁶ Ср.: Eimermacher, Karl (Hrg.): *Semiotica sovietica. Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962-1973)*, Rader-Verlag 1986; Städtke, Klaus (Hrg.): *Kunst als Sprache*, Leipzig 1981; Fleischer, Michael. *Die Sowjetische Semiotik. Theoretische Grundlagen der Moskauer und Tartuer Schule*, Tübingen 1989; Grzybek, Peter.: *Studien zum Zeichenbegriff der sowjetischen Semiotik*, Bochum 1989; Почепцов Г.Г.: Русская семиотика, Ваклер 2001; Петер Гжибек называет метод по праву „прикладной семиотикой в представлении Морриса“, которая не ставит перед собой цель развить собственное понятие знака (в понимании Пирса).“ (С. 314).

⁷ Зенкин, С: Бой с тенью Лотмана, см. выше, с. 340.

ским текстам из литературы и искусства, и в завершении - к культуре вообще („Семиосфера“- определение Лотмана в 80-е годы).

Формализм, структурализм, семиотика вызывали в 60-70-е годы в социалистическом мире острую негативную реакцию, а связанные с ними научные приемы (речь идет о методических представлениях, не о темах) считались настолько опасными и подрывающими основы государства, что у нас в Берлине Институт Общественных наук при ЦК занимался вопросом, является ли подобная деятельность политически допустимой или же вредной.

На чем основывался господствующий в научных кругах общества реального социализма страх перед структурализмом и семиотикой? В 70-е и 80-е годы опасность виделась уже не только в якобы свойственном этим направлениям предпочтении формы содержанию, дело скорее было в том, что структурализм имеет фатальную тенденцию не ограничиваться сферой семантики (в терминологии Соссюра: *parole*), являющей собой основу функционирования идеологической системы, а распространяться и на грамматику (*langue*), лежащую в основе речи [*Sprachgebrauch*]. Грамматика же в свою очередь раскрывает механизм, по которому функционирует текст, в том числе и текст культуры (в понимании Лотмана).

Успенский и Лотман понимают культуру как ненаследуемую память коллектива, „выражающаяся в определенной системе запретов и предписаний“.⁸ Не высказывание, а свод правил, стоящий за ним, является предметом исследований, т.е. именно то, что политики и идеологи как раз и пытались завуалировать при помощи эвфемистической риторики.

Тот факт, что представители советской семиотики, за исключением единиц, ограничились лишь историей, обходя вниманием настоящее как предмет своих исследований, не улучшил дела, поскольку они сами же и установили код своего подхода к прошлому, говоря о том, что прошлое не канет в лету, а остается зафиксированным в памяти культуры. „Память же культуры строится не только как склад текстов, но и как определенный механизм порождения. Культура, соединенная с прошлым памятью, порождает не только свое будущее, но и свое прошлое...“⁹ Другими словами, Лотман и Успенский признают, что создаваемая ими картина прошлого определяется их настоящим. Выбранный фокус - Эвальд Ланг говорит о том, что Лотман выбрасывает понятийные ряды как сети и что пойманная добыча становится тематическим предметом¹⁰ - выдает действительную позицию исследователя и его настоящий познавательный интерес, заключающийся в том, чтобы при помощи ретроспективы культурного прошлого России

⁸ Успенский Б.А.: *Избранные труды*. Т. 1. М. 1996. С. 338.

⁹ Там же. С. 370-371.

¹⁰ Städtke K. (Hrg.): *Kunst als Sprache*. С. 447.

осветить ее сегодняшнее состояние.¹¹ Это стремление ярко выражено в работе Лотмана и Успенского „Роль дуалистической модели в динамике русской культуры“.

Рассматриваемая модель описывает русскую культуру как находящуюся под влиянием принципиальной биполярности, динамика которой на аксиологическом уровне состоит лишь в смене знака, когда утверждаемое новое всякий раз реализуется лишь как обратное старое, что не означает настоящей эволюции. Причиной этому полагается принципиальный дуализм средневекового образа мира, деливший загробный мир на две сферы, рай и ад, и, соответственно, допускаящий и в этом, посюстороннем мире лишь две формы поведения: грешное или святое. Загробный мир на Западе знает еще и третье, нейтральное пространство - чистилище, где „возникала некоторая субъективная непрерывность между отрицаемым сегодняшним и ожидаемым завтрашним днем“.¹² Отсутствие этой нейтральной сферы привело к тому, что в России вместо эволюционного развития имело место „...радикальное отталкивание от предыдущего этапа [...]. Естественным результатом этого было то, что новое возникло не из структурно 'непознаваемого' резерва, а явилось результатом трансформации старого, так сказать, выворачивая его наизнанку. Отсюда, в свою очередь, повторные смены могли фактически приводить к регенерации архаичных форм“.¹³

Таким образом по видимости радикально новая формулировка на уровне *parole* оказывалась лишь переформулировкой отвергаемых ранее истин, в то время как языковая система культуры, *langue*, оставалась без изменений.

Хотя рассматриваемая модель охватывает лишь период от средневековья до XVIII столетия, установленная для него биполярность легко переносится и на настоящее время. Параллели между переменами в советское время и переломом петровских времен очевидны. Субверсивное послание этого текста выходит за рамки описываемого временного пространства; подразумевается, что русское культурное сознание не претерпело со времен средневековья существенных структурных перемен и, прежде всего, существенно не обновилось. Когда узнаешь из текста, что в XVIII веке новое предстает в образах, возвещающих мгновенное, чудесное и полное преображение России под властью императора Петра¹⁴, что миф о новой России и новом человеке представляет собой выворачивание наизнанку старых мифов, что новая культура подчеркивала свой кошунственный, антицерковный характер и вместе с тем продолжала использовать сред-

¹¹ Этим не отрицается аутентичный интерес семиотической группы к исторической реконструкции, как это утверждает Клаус Штэдтке в работе „The concepts of 'opposition' and 'interference' in Soviet cultural semiotic“, *Znakolog. An International Yearbook of Slavic Semiotics*. Heft 1. Bochum. 1989. S. 101-112.

¹² Успенский, Б.Л.: *Избранные труды*. Т. 1. М. 1996. С. 340.

¹³ Там же. С. 341.

¹⁴ „Синтетическую формулу нашел Кантемир: Мудры не спускает с рук указы Петровы, Коими стали мы вдруг народ уже новый...“ Там же. С. 358.

невековые церковные матрицы [Турен], оставшиеся неизменными, то параллель очевидна: советская культура рассматривается лишь как новая версия все той же старой модели. Провозглашенные преобразования представляют собой изменения на уровне символов и форм;¹⁵ как в организационных структурах, так и в мышлении, они продолжают быть скованными рамками раскачивающегося в разные стороны дуализма. Это означает, что и далеко идущие социальные и политические изменения, вызванные Октябрьской революцией, не внесли ощутимых перемен в дуалистический способ мышления.

Семиотика по многим причинам особенно подходила для того, чтобы показать непрерывность устройства русской культуры, начиная со средневековья до сегодняшнего дня: Свойственное структурализму оперирование в бинарных оппозициях соответствует дуалистической организации закрытых систем. Многовековое геополитическое и идейное размежевание, позволяющее определить Россию как отдельное особенное пространство, сделало из нее идеальную семиосферу для семиотического моделирования.

Хотя Лотман (особенно в поздних трудах) обращает внимание на нечеткость и прозрачность границ семиосферы и постоянное кочевание собранных в ней языков как вовнутрь, так и наружу,¹⁶ оперирование *сопоставлениями* и *противопоставлениями* остается главным приемом, подкрепляющим тезис о бинарной структуре русской культуры.¹⁷ В этом и заключается опасная для авторитарной системы взрывная сила семиотики, ставящей под сомнение претензию гегемониального дискурса на монополию правды.

Представляемая в вышеупомянутой работе Лотмана и Успенского модель русской культуры построена на противопоставлениях: *Старое-Новое, Христианство-Язычество, Россия - Европа, Культура - Государство, Поэт - Царь*, хотя эти соотношения интерпретируются по-разному: в то время как *Язычество* и *Христианство, Россия и Европа* связаны общей двойной верой и представляют собой две стороны одной медали (*сопоставление*), отношение между *Государством* и *Культурой, Поэтом* и *Царем* построено как противопоставление. Классическим примером последнего утверждения служит Пушкин, представляющий собственную духовную силу культуры против политической силы царя. Эти соотношения перехлестываются с официальными советскими представлениями лишь в семантическом плане, когда Пушкин - Пушкин, а Николай - Николай, в

¹⁵ „Cultural change was regarded as the introduction of new type of communication, an act of re-writing rules and re-interpretations of texts...“ (Städtke K.: The concepts of 'opposition' and 'interference' in *Soviet cultural semiotics*. S. 106).

¹⁶ Ср. Лотман, Ю.: *Семиосфера*, с. 250-256.

¹⁷ Успенский модифицирует этот тезис в уже упомянутой работе о тартуско-московской семиотической школе, подчеркивая двуцентровость русской культуры, на примере двух ведущих центров с различными традициями: Киев-Новгород, Киев-Москва и Москва-Санкт-Петербург. В этом контексте он интерпретирует семиотическую школу как связь двух центров (лингвистически ориентированную московскую линию и филологическую тартускую). Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, с. 268-269.

то время, как семиотическое прочтение позволяет замену имен: вместо Пушкина - Манделштам, Ахматова и вместо Николая - Сталин.

Субверсивность семиотики по отношению к строго регулируемым, в высокой степени семиотическим устройствам, какими являются авторитарные системы, как я уже упомянула, заключается в основе ее метода. Не случайно развитие диссидентской культуры 60-х годов, московского концептуализма, тесно связаны с семиотикой культуры.¹⁸ Это означает также, что семиотика, желая освободиться от окружающей ее семиосферы, остается по-прежнему на ее территории. Провозглашая и употребляя необходимую для проведения методологических операций практику отделения языка объекта от метаязыка, семиотика, однако, не представляет объективный научный метод, а черпает свои темы и выбирает свой фокус в пределах семиосферы „советская культура“, как выражение «антикультуры», подрывающей монополию идеологической культуры. Поэтому следует рассматривать ее как «участвующую семиотику».

Ко второму вопросу

Несмотря на бурный расцвет семиотики во время перестройки, выведшей науку из маргинальной позиции в центр культуры (Лотман становится популярным и читает по телевидению лекции о русской культуре), семиотика к этому времени уже пережила свой апогей и подошла к концу своей действительной продуктивности. Ученые, образующие ядро группы, разъехались по свету, эмигрировали или вернулись в свои исходные научные области, так что на страницах памятного издания, посвященного Юрию Лотману (1994) большинство из них говорило о семиотике как об уже прошедшей фазе их развития, впрочем давшей почву для последующей деятельности. Изменились однако и научные предпосылки, обеспечивающие продуктивность семиотики. Оглядываясь назад, Борис Гаспаров, один из ее ведущих аналитиков, называет мышление, характерное для школы 60-х годов, утопией, поскольку оно стремилось не более и не менее, как „к абсолютному синтезу, в котором все и всяческие явления получили бы закономерное соотношение друг с другом“. В качестве дальнейших характеристик Гаспаров называет:

„тотальное мышление, преобладание общей цели над частными 'эмпирическими' интересами; [...] Утопический синтез несет в себе черты откровения: приобщение к идеалу мгновенно и радикальным образом преобразует эмпирический мир из хаоса в упорядо-

¹⁸ В заключении к немецкому изданию текстов Д. Пригова *Der Milizionär und die anderen*, Leipzig 1992, редакторы Гюнтер Хирт и Саша Вондерс пишут: „Школа московского концептуализма вводит своим методом участвующую семиотику (семиотику изнутри) в новую стадию самоотражения советской культуры“ (с. 195) (перевод мой. – К.Э.).

ченный космос. Этот эффект дает ощущение власти над эмпирическим миром: мы владеем материалом, а не материал владеет нами [...]. Наконец, тотальность утопического мышления ведет к уничтожению границ между художественным или научным творчеством и 'жизнью',¹⁹

Отличие группы от схожих утопических движений начала века, начиная от символизма и заканчивая группой ОПОЯЗ, заключалось, по мнению Гаспарова, в радикальном отходе от окружающего „контекста“, отходе, к которому не стремились предыдущие группы, при всей их экзотичности; скорее наоборот, они искали контакт с современными им социальными и культурными феноменами. Междисциплинарность и ориентация на Запад подпитывали утопию группы семиотиков. Гаспаров подчеркивает, что хотя семиотика культуры и возникла как эмансипационное движение на фоне постсталинских преобразований, но после завершения „оттепели“ она создала себе безопасное пространство, научное убежище, и уже не представляла и не хотела представлять собой освободительное движение.²⁰ С ужесточением идеологического климата стало невозможным проведение летних школ, организуемых восемь раз в Тарту и Кяэрику с 1962 по 1973 год, а „Труды по знаковым системам“ были сокращены в объеме. Эти внешние трудности сопровождались внутренними изменениями. Последовала эволюция культурно-семиотических исследований как в целом, так и отношении отдельных ученых. „Период 'освоения мира' в категориях семиотического языка завершился. Это вело к распаду междисциплинарных притяжений и к возрождению интереса к контексту, окружающему как бытие каждого предмета, так и традицию его изучения. Семиотическое сообщение теряло ощущение своей целостности и отъединенности от внешнего мира“.²¹

Бесспорно, распад группы не означал конец субверсивности метода. Работы Лотмана и Успенского 60-70-х годов несут в себе достаточный заряд для подтверждения их статуса аутсайдера в официальной советской науке.

Фундаментальные перемены происходят во время перестройки. Внимание общественности к Лотману, его просветительская деятельность, доклады и разработка учебных материалов по русской классической литературе, особенно о культуре дворянства, нашедшие отражение в серии телевизионных передач, наполняли упомянутые Гаспаровым утопические измерения новой жизнью, отличаясь от практики тартуско-московской школы.

В предисловии к „Беседам о русской культуре“ Лотман формулирует свое намерение: ввести читателя в символику дворянской культуры 18-19 столетия. Уделяется внимание таким вопросам, как историческая память, преемственность и

¹⁹ Гаспаров, Б.М.: Тартуская школа 1960-х годов. В: Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, см. выше, с. 292.

²⁰ Там же. С. 293.

²¹ Там же. С. 294.

разрывность истории. Прежде всего он ставит перед собой задачу „...видеть историю в зеркале быта“.²² Он называет мотив, двигавший им, именно во время перестройки обратиться к истории: „...время революций - антиисторично по своей природе, время реформ всегда обращает людей к размышлениям о дорогах истории.“²³ Ощутимо стремление Лотмана под влиянием тенденций перестроечной эпохи воздать должное забытым темам русской истории, к которым культура дворянства относится постольку, поскольку советская идеология односторонне представляла ее реакционной и консервативной. Лотман ставит перед собой задачу просвещения в лучшем смысле этого слова, но фаза субверсивности уже закончена.

Однако конец семиотики культуры был не только обусловлен исчезновением субверсивности с приходом периода гласности, а скорее связан с характером перемен, положившим конец тому типу культуры, в котором семиотика нашла свое место, свою функцию и свой метод – советской культуры.

На этот раз социальные и культурные перемены оказались не только изменением формы, не только семантическим сдвигом и переформулировкой при сохранении структурной стабильности. Бинарный описательный метод больше не функционировал, дуалистическая модель потеряла свое значение: старое и новое теперь не менялись местами, а перемешивались, устанавливая грандиозную интерференцию, аккумуляцию культурных символов, для которых невозможно было установить твердую шкалу ценностей. Теперь литературный постмодернизм, давший описание эскалации и девальвации знака, заставил культурную семиотику капитулировать: бинарные оппозиции (*сопоставления и противопоставления*) разрослись и разветвились до состояния необозримости. Лотман, любивший метафорические понятия, назовет этот процесс „взрывом“. Его последняя книга, как известно, называется „Культура и взрыв“, и это подчеркивает смену доминанты. В центре находится теперь не постоянный, меняющийся лишь относительно аксиологии знак культуры, а динамика, сам процесс изменений, момент „непредсказуемости“ в культуре и истории, и открытость культурной системы. Это не полный отказ от ранней модели, а лишь смещение акцента, имеющее, однако, существенное значение: уже в работе о дуалистических моделях характерный для (древне)русской культуры процесс смены старого новым описывался не как постоянный эволюционный процесс, а как „эсхатологическая смена всего“.²⁴ Эту мысль Лотман развивает в работе „Культура и взрыв“, говоря о том, что „...идеалом бинарных систем является полное уничтожение всего уже существующего как запятнанного неисправимыми пороками. Тернарная система стремится приспособить идеал к реальности, бинарная - осуществить на практике

²² Лотман, Ю.М.: *Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (18-го - начала 19-го века)*. Санкт-Петербург, 1994. С. 10.

²³ Там же. С. 12.

²⁴ Успенский, Б.А.: *Избранные труды*. Т. 1. М. 1996. С. 340-341.

неосуществимый идеал. В бинарных системах взрыв охватывает всю толщину быта²⁵. На фоне перестройки он формулирует новое, отличное от высказанного в ранних работах мнение об этом типе культуры: „Цена, которую приходится платить за утопии, обнаруживается лишь на следующем этапе. Характерная черта взрывных моментов в бинарных системах - их переживание себя как уникального, ни с чем не сравнимого момента во всей истории человечества“²⁶.

Это связано с апокалипсической перспективой, рассматривающей новшество не как упорядоченное исторической хронологией событие, а только лишь как событие одноразовое, стоящее над временем, блокируя таким образом необходимое дальнейшее эволюционное развитие: „Отмененным объявляется не какой-то конкретный пласт исторического развития, а само существование истории“²⁷.

В работе „Культура и взрыв“ автор сожалеет о том, что в России все еще сохранился прежний способ бинарного мышления, и высказывает надежду о замене бинарной системы на тернарную: „Переход от мышления, ориентированного на взрывы, к эволюционному сознанию приобретает сейчас особое значение, поскольку вся предшествующая привычная нам культура тяготела к полярности и максимализму“²⁸.

Выделение Лотманом понятия „взрыва“ было вызвано перестройкой. Поначалу казалось, будто бы все должно было повториться, будто бы известный механизм смены полюсов снова стал срабатывать. Развитие же дальнейших событий происходило неожиданным образом, и автору, внимательно регистрировавшему изменения духа времени, казалось более подходящим концентрироваться не на сложившейся семиотической структуре,²⁹ а на моменте и акте ее взрыва.³⁰ Все последующие тексты Лотмана следуют этой схеме.

Перемещение интереса от структуры к движению, от статики к динамике, меняет также взгляд на действующих лиц культуры. Момент индивидуальности, личной незаурядности, играющий для Лотмана с начала 80-х годов важную роль, усиливается в работе „Культура и взрыв“ и определяется иначе. Ключевые понятия лотманского текста меняются: вместо технического языка семиотики, описывающего структуры и системы, налицо обращение к виталистическим понятиям и биологическим метафорам. Речь ведется теперь прежде всего о „людях“, о „жизни“, о „живых существах“. Семиотика культуры начинает восприниматься

²⁵ Культура и Взрыв, в: Лотман, Ю.М.: *Семиосфера*, см. выше, с. 141-142.

²⁶ Там же. С. 142.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же. С. 146

²⁹ „Традиционное изучение представляет себе культуру как некое упорядоченное пространство. Реальная картина гораздо сложнее и беспорядочнее“. Там же. С. 117.

³⁰ Бригитте Обермайер предлагает для обоозначения и дискуссии этого феномена из перспективы де-конструктивизма неологизм „культурАлогия“. Ср.: *Der Verlust der Exter(r)i(t)oritat. Binares Modelldenken der Moskau-Tartuer Kultursemiotik und die postmoderne Konstellation der sowjetischen Kultur vom Anfang der 1970er bis Ende der 1980er Jahre*, in: Parnell, Christina (Hrg.): *Ich und der/die Andere in der russischen Literatur*; Frankfurt a.M., Berlin, Bern usw., 2002, s. 70.

как часть „науки о человеке“;³¹ Борис Успенский, в работах 90-х годов, называет культуру системой отношений, „устанавливаемых между человеком и миром“.³²

В начале 80-х годов Лотман публикует биографии Пушкина и Карамзина, в которых тематизируется место индивидуальности в истории. Биографию Пушкина Лотман начинает словами: „В редкую эпоху личная судьба человека была так тесно связана с историческими событиями - судьбами государств и народов - как в годы Пушкина“.³³

Затем описывается посленаполеоновская эра и эпоха николаевской реакции, и противостоящие ей силы: „Но в обществе зрели здоровые силы. Вся мощь национальной жизни сосредоточилась в это время в литературе. Такова была эпоха Пушкина“.³⁴

Пушкин ставится в этой дуалистической парадигме на сторону новых, здоровых сил. Биография Пушкина следует концепции „жизнестроительства“, в которой поэт предстает как хозяин и творец своей жизни на всех ее этапах. Оппозиция поэт-власть получает на примере Пушкина свое идеальное воплощение. Против этой типовой (ре-)конструкции жизни поэта полемизирует соратник Лотмана и член тартуской группы Б. Егоров. В предисловии к посмертно появившемуся в 1995 г. сборнику „Пушкин“, содержащему последние работы Лотмана о Пушкине, Егоров указывает на то, что жизнь каждого человека, и гения в частности, состоит из нагромождения случайностей, и поэтому не всегда есть место для последовательного „творчества“ жизни. Он возражает Лотману, подчеркивая, что жизнь Пушкина - это постоянный вызов судьбе, и что он отнюдь не всегда выходил победителем из этой борьбы.³⁵ Аргумент Егорова принадлежит самому Лотману, но не как автору биографии Пушкина, а как автору „Культура и взрыв“, в чем мы еще будем иметь возможность убедиться.

В биографии Карамзина „сотворение“ собственной жизни переплетается сильнее с общечеловеческими вопросами и моралью: если Пушкин является идеальным примером поведения „поэта“ во враждебном ему обществе, то Карамзин - пример морально безупречного человека, не стремящегося к высоким постам в „мундирном веке“ посленаполеоновской эпохи, а служащего незаметно литературе и тем самым показывающего себя настоящим патриотом своей отчизны: „...для того, чтобы так высоко поставить достоинства человека, надо было, пользуясь словами Чаадаева, 'сотворить себя' - и не только хорошим писателем, но и человеком в самом высоком значении этого слова.“³⁶

³¹ Лотман, Ю.М.: Клио на распутье / Лотман, Ю.М.: *Избранные статьи*. Таллин, 1992. Том 1. С. 143.

³² Успенский, Б.: К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы, / Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, см. выше, с. 277.

³³ Лотман, Юрий: *Пушкин*. Санкт-Петербург, 1995. С. 23

³⁴ Там же. С. 27.

³⁵ Егоров, Б.: Личность и творчество Ю.М. Лотмана, там же, с. 15.

³⁶ Лотман, Ю.М.: *Сотворение Карамзина*. М. 1987. С. 16.

Такое полное достоинства поведение, утверждает Лотман в предисловии, дает этому незаметному человеку право на биографию.³⁷ Таким образом Лотман не только реабилитирует одиозного в официальной советской интерпретации историкографа, но и представляет еще один пример безупречного морального поведения в мире, управляемом безнравственностью и коррупцией - вопросы, которые не потеряли своей актуальности и поныне.

Однако на страницах работы „Культура и взрыв“ речь идет не о подобных оппозициях и типологии личности, а об индивидууме в его неповторимости и уникальности. Подчеркивается ценность человеческой индивидуальности: „Человек стал человеком, когда он осознал себя человеком. Это произошло тогда, когда он заметил, что разные особи человеческого стада имеют разные лица, разные голоса и различные переживания. Индивидуальное лицо так же, как и индивидуальный половой выбор, вероятно, первое изобретение человека как человека“.³⁸

Хотя и Пушкин, и Карамзин также были индивидуальностями, создающими свои биографии через сознательное противостояние господствующим нормам, делающими свой выбор и тем самым отстаивающими индивидуальное пространство поведения, Лотмана интересует не непредсказуемость их поведения, а именно моделирование типового образца. В поздних трудах Лотман, наоборот, акцентирует спонтанность и непредсказуемость в поведении людей. Статья „Феномен искусства“ представляет искусство как царство свободы, в котором возможно отрешиться также и нереализуемые в действительности альтернативы: „Подлинная сущность человека не может раскрыться в реальности. Искусство переносит человека в мир свободы и этим самым раскрывает возможности его поступков“.³⁹

Это позволяет Лотману, с одной стороны, сохранить дуалистическую семиотическую модель, базирующуюся на противопоставлении искусство-реальность, с другой стороны, позволяет освободиться от пут дуализма, концентрируясь на стороне искусства, которое предлагает свои собственные законы и свободное пространство для исследования вариантов поведения, не допускаемых законами реальной жизни: „...Любое произведение искусства задает некоторую норму, ее нарушение и установление - хотя бы в области свободы фантазии - некоторой другой нормы“.⁴⁰ Искусство становится той областью, в которой также и в русской культуре осуществляется тернарная модель, нереализуемая в действительности.

Строгим противопоставлением искусства и жизни Лотман, однако, реставрирует культурную модель романтизма. С возобновлением научного интереса к литературным текстам как предмету исследования новой семиотики у Лотмана со-

³⁷ Там же.

³⁸ Феномен искусства / *Культура и взрыв*, см. выше, с. 133.

³⁹ Там же. С. 131.

⁴⁰ Там же.

единяется возврат к истории. В статье „Зимние заметки о летних школах“, содержащей ответ на вышеупомянутую работу Б. Гаспарова, содержащую ретроспективу тартуско-московской семиотической группы, Лотман признается, что он никогда не терял интереса к истории:

„...само семиотическое направление начиналось с отрицания исторического изучения. Отойти от исторического исследования необходимо было для того, чтобы *вернуться* к нему [...] В обращении к синхронии историк обретал свободу. Он освобождался от накопившегося в исторических исследованиях методологического мусора [...] Здесь принципиальная разница между нашей и западной семиотикой, которая так и задержалась на абстрактных моделях. Для нас же абстрактные модели были необходимой дисциплиной ума, которая давала новое орудие для традиционного материала“.⁴¹

Таким образом Лотман еще раз подчеркивает инструментальный характер русской семиотики культуры.

В обращении к истории ставились новые акценты. В центре стоит теперь не интерес к закономерностям в истории, к ее биполярности, выносящий за скобки случайное и индивидуальное и подчеркивающий репрезентативное, как это было характерно еще для биографии Пушкина, но интерес к нерегулярному и случайному; в работе „Клио на распутье“ Лотман оспаривает традиционную историографию:

„История общественных институтов, борьбы социальных сил, идеологических течений как бы отменила *историю людей*, отведя им роль статистов во всемирной драме человечества [...] Полагается, что, чтобы сделаться предметом исторического анализа, человек должен быть рассмотрен как 'представитель' - 'боярской оппозиции' или 'посадского люда', 'барокко' или 'романтизма'. То же, что делает его отличным от таких же 'представителей' этой же категории, находится вне исторической науки [...] Нельзя, однако, не заметить, что закономерное в истории ведет себя (на фоне закономерностей, господствующих на других уровнях структуры мира) несколько неожиданным образом и ставит нас порой перед трудно объяснимыми парадоксами“.⁴²

Таким образом исторический детерминизм Гегеля заменяется моделью, рассматривающей историю как открытое поле экспериментов. Корректируются и собственные научные предпосылки:

„В то время как наука о человеке, в частности семиотика культуры, ищет закономерности культурного процесса и стремится осмыслить природу противознтропийных механизмов истории, на другом конце тоннеля слышатся мощные взрывы. [...] Картина ми-

⁴¹ Зимние заметки о летних школах / Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, см. выше, с. 296.

⁴² Лотман, Ю.М.: Клио на распутье / Лотман, Ю.М.: *Избранные статьи*. Таллин. Том 1. С. 466.

ра неслыханно усложняется, и искусствоведение, культуроведение, да и наука о человеке в целом, из области научной периферии превращается в общенаучный методологический полигон.“

История воспринимается теперь не „как клубок, разматываемый в бесконечную нить, а как лавина саморазвивающегося живого вещества“; во внимание принимаются „перекрестки, альтернативы, моменты выбора пути, моменты, когда нельзя предсказать дальнейшее развитие“.⁴³

Распутье, однако, усиливает „человеческий фактор“ (понятие времен перестройки!); „здесь вступают в действие интеллект и личность человека, осуществляющего выбор“.⁴⁴

Последствия проекта, описываемого здесь Лотманом в общих чертах, не могут в данном контексте быть рассмотрены более развернуто. Однако стоит хотя бы упомянуть о попытке научной систематизации исследования фактора случайности. Лотман использует для этого модели „бифуркации“ и „флуктуации“, описанные химиком Ильей Пригожиным, определяя их следующим образом: „Когда система, эволюционируя, достигает точки бифуркации, детерминистическое описание становится непригодным. Флуктуация вынуждает систему выбрать ту ветвь, по которой будет происходить дальнейшая эволюция системы“.⁴⁵

Но эти попытки систематизации случая остаются исключением. Очевидно, что обращение к культурной модели, ставящей в центр индивидуальность, моральную ответственность каждого, роль „субъективного фактора“ в процессе истории означает отход от системной семиотики 70-х годов. В статье „Клио на распутье“ Лотман пишет: „На одно из первых мест выдвигается мысль о том, что в сфере истории момент флуктуации осуществляется человеком в зависимости от его понимания мира, принадлежности к культурной традиции, включенности в комплекс общественной семиотики“.⁴⁶

Взгляд Лотмана всегда определялся актуальными проблемами, сначала проблемами советского времени, потом - перестройки. В постсоветскую эру жил он не долго. Трудно сказать, развивал бы он дальше свою концепцию „взрыва“, но направление, в которое она указывает, имеет уже мало общего с концепцией 70-х годов.

Заключение

⁴³ Там же. С. 468-469.

⁴⁴ Там же. С. 469.

⁴⁵ Там же. С. 469.

⁴⁶ Там же. С. 470.

Семиотика культуры конструирует прошлое России, исходя из «участвующего наблюдения» ее советского настоящего. Даже если в методологии она отходит от магистрали советской науки, она остается связана с ней как в выборе предметов, так и в разработке методики. Она фигурировала как Другое, как противоположность в этой системе. Она пользуется собственным языком и таким образом выполняет постулированный Лотманом принцип „двуязычия“, регулирующий внутреннюю жизнь любой культуры. То, что она является „антикультурой“ и этим действует стабилизирующе на систему в целом, относится к парадоксам ее существования. По свидетельству Лотмана семиотики в самом деле не ставили перед собой задачу подорвать систему, а лишь стремились перейти от „ НЕ-НАУКИ - К НАУКЕ“.⁴⁷

Результаты их работы нельзя назвать простой актуализацией истории. Как Лотман, так и Успенский, а также другие члены группы являются филологами и лингвистами чистой воды, их достижения остаются неоспоримым результатом этой школы. Бризантность их метода заключалась на мой взгляд именно в том, что он показал непрерывность русской модели мышления, начиная от периода средневековья до современности. Дихотомическая наглядность модели располагала к относительно простым построениям; аксиологический порядок казался урегулированным: добро и зло хотя и менялись местами при случае, но были, как таковые, различимы, оппозиции могли быть не только описаны, но и оценены. Это относится прежде всего к Государству и Человеку, Власти и Человечности, Тирании и Свободе. С распадом Советского Союза моделирующая наглядность сделалась невозможной. Лотман реагирует на это своей работой „Культура и взрыв“, и возможно, этим он также предрекал конец семиотики тартуско-московской школы, попавшей во взрывной процесс так же как и вся культура.

Его выступление перед студентами Тартуского университета в 1990 г. звучит как прощание и одновременно как новое начало. Он призывает молодых ученых оставить старую дорогу и искать новую для того, чтобы старое, уже известное открыть еще раз, по-новому. При этом он готов поставить под сомнение основы своего метода, обращаясь к таким темам, как мир насекомых и не имеющая языка природа, которые не поддаются семиотическому рассмотрению по той коммуникативной модели Соссюра и Якобсона, которой он придерживался. Процесс семиотизации сам по себе оценивается как недостаточный для описания отношений между человеком и окружающим его миром:

„Мы сконструировали себе животного [...]. Мы создали образ животного, поскольку семиотическая структура нуждается в не-семиотической, подобно тому как нация нуждается в не-нации, конструируя образ врага. И мы уничтожили животных...“

⁴⁷ Зимние заметки о летних школах / Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, см. С. 297.

Думая, что мы - мыслящие - уничтожаем не-мыслящих, мы - культурные - уничтожаем не-культурных!

Семиотика создает несемиотический мир. Напрасно думать, что мы окружены от природы не-семиотическим миром и в нем покоится озеро семиотики. Мы действительно окружены не-семиотическим миром, но мы не видим его. Мы видим тот мир, который создаем - семиотический мир не-семиотического мира. И как можно вырваться за пределы семиотики? [...]

Это вопросы, на которые мы сейчас не имеем ответа⁴⁸.

Вопрос, насколько концепция семиотики, представляемая Пирсом и Моррисоном, исходящая не из лингвистической системы знаков (то есть из соссюрковского дуализма *langue* и *parole*), а из знака как такового, способная учесть также и внеразумные феномены природы в качестве источника сообщений, лучше вооружена для ответа на поставленные Лотманом вопросы, не входит в рамки этой работы.⁴⁹ Для Умберто Эко именно эта ограниченная применимость модели Соссюра при описании „семантических полей“ явилась причиной предпочтения модели Пирса.⁵⁰ Лотман и в своих поздних работах не рассматривает этот вариант семиотики.⁵¹ Его занимала семиотика не как теория, а как метод, преследующий определенную цель, а именно - описание известных (традиционных) тем (русской) филологии в рамках ее привязанности к относительно замкнутой системе русской/советской культуры, не задерживаясь на уровне семантики (и герменевтики), но углубляясь в управляющие ею механизмы коммуникации и власти.

Тот факт, что возраст и болезнь не смогли помешать этому оригинальному мыслителю отправиться к новым берегам, свидетельствует не только о его непрерывной духовной подвижности и смелости, но и является прежде всего призывом к потомкам ощутить пределы семиотики культуры (в духе тартуско-московской школы!), что означает - выйти за границы привычных путей мышления и найти новые способы противостоять мировому хаосу.

(Перевод с немецкого К.Э.)

⁴⁸ Лотман, Ю.М.: Чем длиннее пройден путь, тем меньше вероятностей для выбора, там же, с. 458.

⁴⁹ См. к этому вопросу напр. Fleischer, Michael: *Die sowjetische Semiotik. Theoretische Grundlagen der Moskauer und Tartuer Schule*, Tübingen 1989; Grzybek, Peter: *Studien zum Zeichenbegriff der sowjetischen Semiotik (Moskauer und Tartuer Schule)*, Bochum 1989.

⁵⁰ Eco, Umberto: *Einführung in die Semiotik*, UTB, München, 1991 (7. unv. Aufl). S. 28-31

⁵¹ Также в своих поздних работах он придерживался системы Соссюра; отходя от фундаментальной дискуссии с Пирсом. Успенский объясняет в своей работе о тартуско-московской семиотической школе выбор модели Соссюра тем, что он и московская ветвь группы вышли из лингвистики, и что их интересовали прежде всего отношения между знаками, а не их семантикой. См. Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, см. выше, с. 273.